

* * *

Утром в больничной столовой рядом со мной за пластмассовый столик сел крепко сбитый, почти квадратный человек, плечи и грудь которого были покрыты седой, жёсткой, как будто бы кабаньей, шерстью. Схожесть с кабаном ему придавали маленькие глазки и могучие предплечья, на которых были изображены искусным татуировщиком то ли букеты цветов, то ли заросли неведомых мне растений, из которых высывались полуптичьи, полуживотные, получеловечьи морды существ, подобных горгульям, украшающим Собор Парижской Богоматери. Короткая седая стрижка, чуть-чуть свалывшаяся на загривке, усугубляла родство этого человека со зверем.

Когда его кто-то из толпившихся в столовой бедолаг его окликнул, и мой человекообразный сосед повернулся вполоборота, я успел схватить глазами три слова на его предплечье и с удивлением понял, что эти слова немецкие и к тому же известные всему цивилизованному миру: «Jedem das Seine», что в переводе на русский означает «Каждому своё», и возникли они как заповедь для всех несчастных, попавших в годы Второй мировой войны в Дахау или Освенцим... Открыв от изумления рот, я попытался было спросить у вепря, знает ли он смысл этой надписи, но язык присох к нёбу. А мой вепрь опрокинул залпом кружку кефира в глотку, встал и коренастой раскочивающейся походкой на двух ногах пошёл к выходу. На нём были шорты, которые едва не лопались по швам от этой походки, а на мясистых икрах я вдруг увидел ещё какие-то слова, тоже изображённые чуть ли не готическими буквами. Я рванулся за ним и догнал его в коридоре:

— Скажите, пожалуйста, — заикаясь от волнения произнёс я. — А что у вас написано на ногах?

Он повернулся ко мне всем торсом, поскольку у него не было шеи, а голова сидела прямо на плечах, и бесстрастно по слога произнёс:

— Арбайт демохтен фрахт!

— Работа освобождает! — обрадованно произнёс я.

— Вот именно! — холодно ответил он и ускорил шаг, явно показывая, что нам с ним больше говорить не о чем, и захлопнул дверь в свою палату прямо перед моим носом.

* * *

В «застойные» времена я в отличие от диссидентствовавших шестидесятников, рвавшихся на Запад, частенько «иммигрировал» в свою страну, в СССР. Подружился с геологами и несколько сезонов прожил в работе среди хребтов Тянь-Шаня и долин Гиссара, среди вечных льдов и альпийских лугов, среди громокипящих голубых рек, рычащих бурных селевых потоков, среди бедных, но полных достоинства и трогательных в своём гостеприимстве жителей высокогорных кишлаков, среди орущей, мускулистой, загорелой, не жалеющей себя ни в работе, ни в гульбе геологической, студенческой, шофёрской вольницы...

А иногда я месяцами пропадал в эвенкийской тайге, добираясь до крайних северов на «аннушках», на «вертушках», разглядывая в иллюминаторы дикие просторы: сопки, усеянные редколесной тайгой, распадки, чёрные реки, медленными змеями впадающие в Угрюм-реку — Нижнюю Тунгуску, на берегу которой стояло зимовье рядом с двумя берёзами и овальным калтусом, затянутым в октябре сверкающим льдом.

Меня встречал дед Роман Иванович

Фарков, два кобеля, Рыжий и Музгар, мы обнимались, от дедушки пахло ондатровыми шурами, рыбой, солью... Он тащил меня в зимовьюшку, где на столе уже дымилась уха, поблёскивали в миске мороженые сижки да хариусы. И начинались наши бесконечные разговоры о жизни, об охоте, о детях и внуках.

Каждый день с утра мы бороздили тайгу по аргишам и путикам, задыхаясь мчались на лыжах к далёким листовницам, куда наши кобели слаем загоняли царственных соболей. А в иные дни красными, словно варёные раки, руками трясали на озёрах сетки, вытряхивали на лёд серебряных карасей и снова опускали снасти в лунки, заполненные тёмной тяжёлой водой.

А вечерами, долгими зимними вечерами при патриархальном свете керосиновой лампы в зимовье текли нескончаемые наши разговоры о крестьянской жизни в 1920-30 годы, о раскулачивании, о репрессиях, о войне, о плене, в котором побывал дед... Обо всей громадной нашей жизни



мы толковали в стареньком зимовье с раскалённой печуркой, сваренной из железной бочки, под звонкие разрывы древесных стволов — от пятидесятиградусного мороза лопались на берегу калтуса берёзы.

...А в другие времена я уезжал на чёрную ледниковую реку Мегра, шумно впадающую в Белое море, подымался с местными ребятами на карбасе к её истокам, ловил сёмгу, жил в палатке либо под исполинскими шатровыми не промокающими во время дождей елями, слушал и запоминал бесконечные рассказы о том, как их предки добирались сюда по Мезени и Пинеге, как ставили в устьях рек поморские деревушки, рубили из листовья церкви, как через их деревни бежали мужики, которыми были тогда наводнены архангельские пристани — их отправляли на Соловки. Но кто смел да удал — уходил из-под вохровских взглядов навстречу солнцу, на Восток, добрел до деревень Майда, Мегра, Ручьи, где поморы советовали скитальцам: идите по рекам на юг, в старушечьи скиты. Но и там энкавэдэшники находили их, а скиты рушили огнём, как во времена Авакума.

Сидим на берегу Мегры, толкуем... А гуси, прорезая полосу северного сияния, летят с Канина носа. Их рыдающий крик стелется над болотами и озёрами. А самих птиц не видно в тёмном сентябрьском пространстве, пока извилистый клин не попадёт в струю дрожащего зеленоватого-лилового сполоха. Чёрные трёхметровые обетные кресты, поставленные на краю обрыва, под которым шумит река, словно врезаны в тусклое северное небо...

* * *

6 апреля 2013 года юрист Барщевский в передаче Владимира Соловьёва весьма своеобразно заступился за думцев, которые держат деньги в офшорах: «При таких наездах на них в Думе не останется интеллигентов, — задумчиво произнёс Барщевский и добавил: — А на их место придут кухаркины дети».

Одна весьма интеллигентная вдова писателя, живущая в одном доме со мной, желая угодить мне, сказала при встрече о моём старшем внуке: «Хороший мальчик, сразу видно, что не слесарев сын».

Профессор и преподаватель МГИМО Юрий Пивоваров в телевизионном поединке «Суд времени», будучи членом команды телевизионщика Млечина, заявил: «Советский человек — это антропологическая катастрофа».

Я исхожу из того, что «кухаркины дети» — это выходцы из простонародья, и вот что думаю по поводу всего сказанного. Конечно, этот советский «антропологический недоносок» совершил непростительное преступление, позволив «антропологически совершенным» арийским особям одержать победу над «унтерменшам». Конечно, в этом виноваты дети сапожников Сталин и Жуков, дети крестьян Твардовский и Конёнков, дети рабочих Косыгин и Кожедуб. Не менее страстно, чем Барщевский и Пивоваров, их презирал знаменитый поэт советской эпохи, вышедший из среды «антропологически совершенных» профессиональных революционеров-аристократов, который даже сочинил стишок о советских «недолюдках»:

Кухарку приставили как-то к рулю,
она ухватилась, паскуда.
И толпы забегали по кораблю,
надеясь на скорое чудо.

Кухарка, конечно, не знала о том,
что с ними в грядущем случится.
Она и читать-то умела с трудом,
ей некогда было учиться.

Кухарка схоронена возле Кремля,
в отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки спуют у руля,
и мы не случайно в ответе.

Конечно, отпрыск революционеро-аристократов Булат Шалвович Окуджава, чей близкий родственник с той же фамилией приехал в Россию в апреле 1917 года в запломбированном вагоне, имел полное право смотреть свысока на эту простонародную чернь, вроде Шолохова, Есенина, Георгия Свиридова, Ивана Конева, Юрия Гагарина, Валерия Чкалова, Николая Рубцова...

Такой вот аристократический социальный расизм образовался в нашем обществе за последние четверть века! Люди забыли о том, что до революции почти половина населения России не умела читать и писать. Что ликбез, на занятиях которого моя крестьянская бабушка Дарья Захарьевна по слога повторяла: «Мы не рабы — рабы не мы» — не выдумка большевистского агитпропа, а реальность. Что избы-читальни, лампочки Ильича, чёрные тарелки радио на свежих телеграфных столбах в деревнях России были не мифом вроде нынешнего Сколково, а настоящим национальным проектом, после осуществления которого появилась надежда, что страна создаст из «кухаркиных детей» многомиллионные армии учителей, врачей, агрономов, строителей городов, лётчиков, геологов, железнодорожников, писателей, актёров...

Эти простые, но великие истины хорошо понимал один из талантливейших «кухаркиных детей» поэт Ярослав Смеляков, написавший после войны стихотворение о советской женщине двадцатых годов:

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя сынки
Всегда освещало её.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумака.

В нём было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санюлота
и чёрный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
её увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах
печатались в наши года:
прямые черты делегатов,
молчалие лица труда.

Такое лицо было у моей матери и у её старших сестер — тётки Поли и тётки Дуси, то есть у трёх дочерей моей бабушки Дарьи Захарьевны, калужской крестьянки, которая, споря с моей матушкой, острой на язык и часто ругавшей советскую власть, говорила ей:

— Ты, Шурка, советскую власть не ругай,
я вот неграмотная, а ты при этой власти
два института кончила...

* * *

Посмотрел по телящику фильм «Белый тигр», поставленный Кареном Шахназаровым, о поединке советского танкиста Петрова, почти сгоревшего в танке, но каким-то мистическим чудом выжившего, чтобы объявить охоту на таинственный немецкий танк «Белый тигр», которая может закончиться лишь окончательной гибелью одной из сторон.

«Белый тигр» неуловим. На него организуют облавы из целых танковых частей, но он появляется на поле боя всегда неожиданно и всегда с самой неуязвимой для себя стороны, расстреливает советские «тридцатьчетвёрки» и уходит, как невидимка, чтобы появиться там, где его не ждут.

В последней дуэли один на один Петров выследил-таки врага, выстрелил первым и подбил башню «Белого тигра». Казалось бы, конец, башня закинена, но тут орудие «тридцатьчетвёрки» разрывается от последнего залпа и подбитый зверь войны уползает в туман. Фильм заканчивается клятвой нашего танкиста в том, что окончательная победа над мировым злом будет одержана после того, как будет сожжён этот бессмертный символ зла.

Однако в нескольких последних кадрах из тьмы выплывает фигура человека с чёлкой на лбу, в профиль похожего на Адольфа Гитлера, с печалью произносящего в пространство монолог о том, что он должен был выиграть эту войну: «Мы нашли мужество осуществить то, о чём мечтала Европа... Разве мы не осуществили мечту каждого европейского обывателя... Они всегда не любили евреев... всю свою жизнь они боялись этой страны на востоке... этого кентавра... России. Разве мы придумали что-то новое?.. Мы просто внесли ясность в то, где все хотели ясности... Теперь же немецкий народ сделает виновником всего...».

Так почему же он проиграл эту схватку с «азиатско-русскими варварами», на которую получил благословение всей цивилизованной и объединённой его волей Европы? Вскоре после просмотра фильма я раскрыл книгу Василия Белова «Час шестый», врученную мне к моему семидесятилетию с дарственной надписью: «Дорогие Галя и Стасик! Я вроде бы дарил вам этот "кирпич". История его (такого издания) — почти детективная история. Если будете читать, это заметите. Ах, не зря говорите, что кого Господь решит наказать, того Он лишит памяти... Только читать надо внимательно. Может, у вас уже имеется эта книга? Пусть будет и эта в честь твоего, Стасик, юбилея! До свидания. Белов. 15 июля 2003 г.».

Я взял толстенный (950 страниц!) том в руки, и он вдруг раскрылся на титульной странице второй части, озаглавленной «Год великого перелома. Хроника начала 30-х годов». На обороте страницы в